

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



РОМАН №3 2023 ГАЗЕТА

Александр Проханов / Он



Александр Проханов



Он медленно спускался в летний сад
И погружался в кресло под сиренью.
На нем лежала солнца полоса.
Лицо покрыто легкой светлой тенью.

Он был тяжел, в нем иссякали силы.
В нем стыла кровь, не согреваясь летом.
Его родня накидку приносила
И накрывала ноги теплым пледом.

И он сидел дремотный и недвижимый,
Лишь иногда приподнимая веки.
Чтобы увидеть, как желтеют пижмы,
Сияют флоксы, синие, как реки.

В его дремотной памяти усталой
Текла видений странных вереница.
Гладь океана призрачно блистала.
Мерцали артиллерии зарницы.

То шелестели джунгли Кампучии,
И пехотинцы в бой бросались снова.
То мчались тепловозы, и лучи их
Метались в зеркалах купе ночного.

Он видел руки женщины любимой,
Его любовью дивной одарившей.
И над Кабулом тучу злого дыма.
На мостовой лежит убитый рикша.

Порой являлось мамино лицо,
Ее любимая фарфоровая ваза.
И как ребенком вышел на крыльцо,
Трава сверкала россыпью алмазов.

Так жизнь, что на своей заре далекой
Ему любовь и счастье предвещала,
Теперь, перед его последним сроком,
Ему свои виденья возвращала.

Поодаль шумно детвора резвилась.
В саду висел гамак, дыряв и клетчат.
К нему на руку бабочка садилась,
И желтый лист слетал ему на плечи.

Так он сидел в дни осени багряной.
Так он сидел среди дождей тяжелых,
Когда с берез холодные бураны
Смели наряд последних листьев желтых.

Пошли снега, и он сидел в метели.
Был, как сугроб, насыпанный в морозе.
Вдруг снегири к сугробу прилетели,
Как будто принесли живые розы.

Его усыпали на праздник огоньками.
Два уголька и красная морковка.
Он — снеговик. Вокруг, звеня коньками,
Кружился рой, танцующий и ловкий.

Весной, когда лазурь затрепетала,
Когда от солнца засверкали дали,
Он стал, как вешний лед прозрачный, талый.
И в нем бесшумно радуги играли.

Он весь растаял и истек ручьями.
В них серебром расплескивался ветер.
Вдруг на земле, под теплыми лучами,
Открылись взору дивные соцветья.

И в каждом его голос раздавался.
Прильни к цветку, и ты его услышишь.
В том синем — океана вал плескался.
В том желтом — пагод золотые крыши.

В том алом — бой горячий и смертельный,
В котором пал его любимый друг.
Его несли в гробу с крестом нательным
В страну, где нет ни горестей, ни мук.

А в том цветке, в том дивном семицветье,
Его любимых женщин красота.
И целовал цветы весенний ветер,
И плавилась лазурью высота.

Из той лазури в сад спустилась птица.
Она была невиданной расцветки.
Ее увидел мальчик светлолицый.
Искал в саду на опустелой ветке.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор

Юрий Козлов

Редакционная

коллегия:

Дмитрий Белюкин

Алексей Варламов

Анатолий Заболоцкий

Владимир Личутин

Юрий Поляков

Ответственный

редактор

Елена Русакова

Права

на использование

товарного знака

«Роман-газета»

принадлежат

ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2023

Все права защищены

Журнал зарегистрирован

в Министерстве связи

и массовых коммуникаций РФ.

Свидетельство о регистрации

П/И № ФС77-68350

от 30.12.2016 г.

Подписаться

на журнал «Роман-газета»

можно в отделениях связи

и через Интернет:

roman-gazeta-1927@yandex.ru

Подписные

индексы издания:

в объединенном

каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может

не совпадать с позицией

редакции

2023 №3 /1920/ Основана в 1927 г.

Александр Проханов

Он

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ночью шумело, громыло по крышам, било по карнизу, хлестало по стеклам. Вдруг тяжело ухало и катилось, унося с собой зеркальную вспышку. Я просыпался, видел забрызганное, в зеленоватом свете окно, гаснущую лиловую молнию. Засыпал, чувствуя, как совершаются за окном в весеннем московском ливне таинственные перемены. Охватывают комнату, где я спал, шкаф со стеклянными вазами — в них продолжала держаться небесная вспышка, черный ковер, на котором вдруг загорался красный и синий узор. Сквозь молодой сон я слышал, как что-то меняется во мне, возрастает, пользуется ночью, чтобы совершить во сне чудесные перемены.

И утром счастливое пробуждение. Свет в глаза, умытый блеск окна, водянистое пятно солнца на стене, книжный шкаф с горящим в сумраке тусклым золотом кожаных корешков, неразборчивые голоса мамы и бабушки в соседней комнате. Готовят завтрак, берегут мой сон в праздничное майское утро. Не надо через силу вставать, собираясь в школу, можно нежиться в постели, предвкушая огромный светлый день, распахнувший мне свои объятия.

Боже, как преобразился за окном тополь! Вчера нелепый, корявый, с кривыми ветвями, лишь слегка опушенный туманной зеленью, с розовыми, нераспустившимися почками. Сейчас сплошь изумрудный, укравший своим великолепным шатром переулочек, фасад соседнего дома с лепниной, старую колокольню, что смотрит из-за тополя нежной и печальной красотой. Той, что светятся старые разоренные церкви.

Быстро встать, ополоснуться водой из медного крана, сесть с мамой и бабушкой за круглый стол, залюбоваться чудесной глазунью — черная сковородка, разлитый млечный белок, яркие, выпуклые, золотые желтки. Свежая булка в деревянной хлебнице с вырезанным снопом, косой и цепом. Сладкий обжигающий чай с крутящимися чайниками. Поцеловать торопливо маму и бабушку:

— Олежка, теплее оденься! Ветер!

В новой вельветовой курточке, нарядной, свежей, выскочить из дома. Вдохнуть и опьянеть от густого влажного воздуха с запахами древесных соков, мокрой земли, железных, омытых дождем крыш, тяжелых булыжников мокрой мостовой. Найти под тополем сбиту ливнем веточку с зелеными листиками, липкими клювиками почек. На пальцах остается клейкое пятнышко, долго пахнущее чудесной горечью громадного дерева.

Наш Тихвинский переулочек вымощен булыжником, переулочку не хватило асфальта. Ночной ливень смыл с мостовой пыль, грязь, зимнюю ржавчину, и камни проси-

яли как самоцветы. Алые, золотые, голубые, зеленые, таинственно-фиолетовые, блестяще-серебристые. Они казались глядящими в небо разноцветными глазами. Эти округлые валуны были принесены в переулочек древними ледниками с далеких гор. Искусством мастера-великана уложены во всю длину переулка, как мозаика. В былые времена здесь цокали подковы лошадей, стучали обода карет и пролеток. Теперь изредка продребезжит грузовик, прошелестит на упругих шинах легковушка.

Случившиеся за ночь перемены — распустившийся великолепный изумрудный тополь, раскрывшая изумленные глаза мостовая, колокольня из серой, изнуренной нищенки ставшая юной красавицей в сиреневом платье, — все эти перемены случились и со мной. Вчера, хмурым вечером, я был печальный, о чем-то неясно горящий. Лег в кровать, ночью слышал ливень, озарялся летучими молниями. А утром встал ликующий, обожающий, с легкостью молодого веселого тела.

В переулке было пусто, просторно. Но там, где он вливался в Новослободскую, двигалось, шевелилось, густо темнело, мерцало. Раздавались ровный гул, музыка. Первомайская демонстрация вязко тянулась от Савеловского вокзала по Новослободской, дальше по улице Чехова, к Пушкинской площади. Там сливалась с другими потоками, двигалась к Красной площади, к Мавзолею, на котором стоял Сталин. И все это бесцельное многолюдье терпеливо тянулось к Мавзолею, чтобы показаться Сталину, прошествовать перед ним нескончаемой колонной, исполненной силы и радости.

— С вечера стоишь? — Мой закадычный друг Владка Лебедев насмешливо окликнул меня. Он появился внезапно из туманного солнца, влажной зелени, блестящего самоцветами переулка.

— Тебя дожидаюсь. — Я был рад ему, принял его легкий дружеский удар кулака в плечо. Видел близко его круглое яркое лицо с мягкими, чуть оттопыренными губами, серые пушистые брови, из-под которых упрямо смотрели голубые, слегка навывкате, глаза. Мы оба оканчивали восьмой класс. Я, Олег Муравьев, считал Владку другом, признавая в этой дружбе его превосходство. Охотно уступал ему первое место в наших увлечениях, восхищался его напором, сообразительностью, легкостью, с какой он получал отличные оценки по самым трудным предметам, обгоняя в успеваемости всех в классе.

— Пойдем с народом. — Владка кивнул на мерно шумящую гущу. — Посмотрим Сталина.

— Далеко идти.

— Была бы цель.

Он говорил убежденно, будто у него были опыт и знание, мне недоступные. Иногда я ему возражал, но очень скоро сдавался, чувствуя в нем напор и волю, мне недостававших.

Мы поднялись по переулку к Новослободской. Мимо густо, ровно плыли лица, флаги, портреты, транспаранты. Вязкая медленная толпа без начала и

конца шумела, шаркала по асфальту, затягивала песню, которая тонула в другой, переливалась в третью. Люди были праздничные, надели лучшее. Мужчины казались посвежевшими, молодежавшими, базили, подмигивали, цепляли женщин, а те хохотали, похорошевшие, озорно откликались. Не было в людях тусклой будничности, угрюмой суровости, всего, что в другие дни заметно на улицах, в очередях, в трамваях, во дворах. Здесь, в первомайской колонне, люди светились, они шли на смотрины, хотели быть красивыми, бодрыми.

Я смотрел, как проплывает мимо красный транспарант с надписью: «Хлебозавод имени Микояна», и другой — «Московский станко-инструментальный институт». Глядя на первый транспарант, я почувствовал запах теплого хлеба, что всегда доносился из-за железнодорожных путей у Савеловского вокзала. А глядя на второй, представил немецкий танк на внутреннем дворе института. Студенты залезли в стальные люки подбитой машины, изучали его конструкцию.

— Давай пристроимся. — Владик потянул меня, желая протиснуться вглубь колонны. Но мужчина с красной повязкой не пустил нас.

— Чужих не пускаем.

— Да мы свои.

— Вот и ищите своих, — и грубо выставил нас из колонны.

— Пошли вперед. Как черепахи плетутся. Впереди пристроимся.

Мы заскользили по тротуару, обгоняя медлительную колонну.

Небо было синее, ликующее, без облачка. Кирпичная стена Бутырской тюрьмы сочно краснела, нависая над черной тягучей колонной. Я подумал, что узники за этой стеной — грабители, воры, мошенники — слушают из своих камер музыку, возгласы, ровный, как море, шум толпы.

Обгоняя колонну, миновали Палиху с булочной на углу, где продавали теплые, с хрустящей корочкой булочки, усыпанные маком. Остался сзади гастроном, который бабушка называла «Куртников», по имени прежних хозяев. На его закопченной стене кафелем было выложено: «Бакалея».

Осталась в стороне Селезневка с пожарной каланчой и маленьким прудом, откуда взлетали утки и ярко-зеленые, синие, с золотыми головками селезни. За домами, скрытая в деревьях, пряталась действующая церковь «Новый Пимен», как ее называли. Путь к ней указывали смиренные женщины в платочках, несущие веточки вербы и кульки с куличами. Я не был в ней ни разу. Влекло к себе суровое, древнее, из пушкинского «Годунова», имя «Пимен». От посещения церкви меня останавливала странная запрещающая сила. Я откладывал посещение до времени, когда стану готов к встрече с чем-то таинственным, сладко влекущим.

Колонна валила через Садовую, пустую, без машин, просторно и солнечно уходящую в обе стороны. Умыто блестяли окна высоких домов, изумруд-

но, с покрашенными лавочками, зеленел сквер. У Садовой заканчивалась часть города, которую я считал своей. Здесь завершались мои прогулки. Достигнув шумной, блистающей машинами и огнями Садовой, я поворачивал вспять, возвращался в свой район, близкий к окраинам. Там дома, переулки, дворы были обжиты, с особым людом, отличным от жителей московского центра.

Но улица Чехова, по которой мы приближались к Пушкинской площади, не была чужой. Проезжая по ней в трамвае, из окна я любовался красивыми особняками, высоким, с шершавыми колоннами, домом, о котором бабушкин брат, дед Николай, сказал: «Очень недурственная архитектура». Годы спустя, проезжая мимо этого дома, я вспоминаю деда Николая, его костлявую, в хлипком пальто фигуру, впалые щеки и язвительный рот с дымящей папиросой. Он был офицером на Русско-турецкой войне, награжден «золотым оружием», отсидел в лагерях и появился в нашем доме изможденный, полный желчи, затевая частые ненужные ссоры в трамваях, в очередях, давая выход копившемуся в нем ядовитому негодованию.

— Давай встраиваться, дальше будет труднее. — Владка высматривал в колонне прогал, куда было можно скользнуть. Две молодые женщины несли розовые шары, болтавшиеся на весеннем ветру. Им было хорошо, из-под беретов смотрели свежие лица, бегали шаловливые глаза. Они нравились идущим рядом мужчинам. Подмигнули нам. — Сюда, — сказал Владка. Мы юркнули в колонну, спрятались в ее глубине.

Старались поймать шаг, чтобы нам не наступали на пятки.

— Это кто такие? — перед нами возник мужчина с красной повязкой. Его розовое после недавнего бритья лицо было не строгим. — Вы куда, пузыри? Кто такие?

Я был готов послушно покинуть колонну, пугливо поглядывая на начальственную повязку. Но Владка, глядя восторженными синими глазами, вдруг запел:

— Мы — красные кавалеристы, и про нас былиники речистые ведут рассказ!

Он искоса взглянул на меня.

— О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные мы грозно, мы смело в бой идем! — подхватил я. И оба истовыми голосами восторженно пропели: — Веди, Буденный, нас смелее в бой! Пусть гром гремит, пускай гроза кругом, гроза кругом! Мы беззаветные герои все, и вся-то наша жизнь есть борьба!

Мы пели так заливисто, с такой гвардейской удалью, что дежурный с повязкой махнул рукой и оставил нас в колонне.

Мы плыли в могучей, медленной реке. Она казалась темной, люди были в неярких одеждах. Отсутствовали цветастые галстуки и платки, словно никто не хотел выделяться, не желал красоваться, сливаясь в общий послевоенный цвет. Яркими оставались портреты в руках демонстрантов. Лица вождей выглядели молодыми, сочными, ордена у них на груди

пламенели. Вокруг портретов особенно много было алого, сияющего. Рядом со мной плыло лицо Берия с черными симпатичными усиками, в очках. Колыхались Молотов, Микоян, Каганович, глядя поверх толпы, будто что-то прозревали впереди. Портрет Сталина был вдвое крупнее. Френч с бриллиантовой звездой, фуражка с нарядной кокардой, знакомое, с седеющими усами лицо, чуть прищуренные глаза. Раму, окружавшую портрет, украшали яркие бумажные розы. Сталин был красивый, родной, седоусый, знакомый по множеству портретов, висевших в детском саду, школе, поликлинике, размещенных в учебниках, газетах. Этот, окруженный розами, походил на другие, но мягкая ткань портрета чуть вздрагивала от ветра. Лицо казалось живым.

Я осматривался. В колонне женщин было гораздо больше мужчин. Молодые, по двое, по трое, зыркали на шагавших рядом мужчин, громко и беспричинно смеялись, голосисто и воодушевленно пели. Те, что постарше, среди песен и возгласов, оставались молчаливыми, с тихой вдовьей печалью на лицах, так похожих на мамино родное лицо.

Мужчины несли портреты, держали древки транспарантов. Рядом шагал безрукий, с пустым рукавом. У другого лицо рассекал лиловый рубец, делавший рот кривым, не закрывался его металлический зуб. Это были фронтовики.

Окруженный взрослыми, сбитыми в колонну, я вдруг почувствовал свою неприкаянность, затерянность и ненужность. Моя жизнь была стиснута, слиплась со множеством чужих жизней, потеряла свою неповторимость. Это пугало меня. Но этот страх сменился восторгом. Толпа, поглотившая мою жизнь, делала меня огромным. Я был великан. Толпа принадлежала мне. Ее хвост терялся за Савеловским вокзалом среди депо и заводов, а голова выходила на Красную площадь, где на Мавзолее встречал ее Сталин. И все это был «Я». Праздник был в мою честь. И хотя среди портретов отсутствовало мое лицо, но это меня славили песни и возгласы. Весь весенний, красноречивый праздник был устроен ради меня.

Владка шагал поодаль, крепко ступал, поворачивая к соседу плечо, что-то ему втолковывал, взмахивал рукой. Сосед был взрослый, но слушал внимательно, как если бы Владка рассказывал что-то важное, ему досель неведомое. Владка умел разговаривать с людьми, и мне с моей застенчивостью было до него далеко.

Колонна из улицы Чехова излилась на Пушкинскую площадь. Изгибалась, втягивалась в Пушкинскую улицу, спускаясь к Дому Союзов. Другая колонна, черная, тяжелая, изукрашенная флагами и портретами, текла по улице Горького через площадь вниз к Манежу. Мы с Владкой перебежали в эту колонну. Она казалась торжественней, сулила скорую встречу с тем, кто стоял на Мавзолее среди кристаллических блестящих уступов.

Пушкинская площадь всегда рождала у меня чувство, похожее на нежность. Была знакома с детского

сада, когда бабушка, держа мою маленькую, в перстрой варежке, ладонь вела меня к фонтану, полному истоптанного снега. На елке качались огромные хлопущки и снежинки. С деревянной, политой водой горки по черной наледи с визгом катились и падали дети, а продавщицы мороженого, толстые, со свекольными лицами, замотанные в платки, доставали из сундуков на колесиках твердые, как камень, пакки сливочного.

Мы проникли в колонну, вязко топтавшуюся у «Известий» и кинотеатра «Центральный». По фасаду «Известий» бежала игривая строчка из мигающих лампочек. На фасаде кинотеатра красовалась реклама нового фильма. Лихой усач взмахивал саблей, хмурил грозные брови, а вокруг рекламы среди бела дня бледно горели лампы.

— Если спросят, кто мы, отвечай: «Отбились от «Второго часового завода». — Владка проводил глазами удалявшийся транспарант с нарисованными часами.

От Пушкинской улица Горького парадно спускалась вниз, мимо магазина «Армения» с угловой башней, где высилась белая статуя физкультурницы, ее парящие в небе крепкие бедра и круглые груди. Отсюда колонна зашагала быстрее, из громкоговорителей неслась громоподобная музыка, гуще краснели флаги, больше становилось портретов Сталина — все тот же китель с алмазной звездой, седеющие усы, прищуренный взгляд. Цель, к которой стремилась колонна, была близка, торопила. Уставшие за долгое шествие люди приободрились. Громче звучали здравицы.

— Да здравствует великий вождь и учитель товарищ Сталин!

Шире становился шаг.

Я чувствовал эту влекущую силу, таинственную волю, реющую в весеннем небе среди флагов и цветов. Я отдавался этой воле, счастливо повиновался.

Елисеевский гастроном слабо дохнул ванилью и чем-то горьковатым и грустным. Так пах наш стеклянный домашний буфет, сохранивший запахи жизни, которой давно не стало. Лишь раз я заглянул в Елисеевский и был поражен сказочными палатами, сусальным золотом, яркими росписями, среди которых вот-вот появятся богатыри, царевны, волшебники, а царские яства — остроносые осетры, разноцветные фазаны, копченые окорока — уже выставлены в стеклянных витринах.

Москва казалась прекрасной. Прекрасными казались нарядные дома с балконами. Величаво гарцевал на коне Юрий Долгорукий. Таинственно, как самоцвет, вращался в глазнице на фасаде телеграфа голубой глобус. Портреты над толпой были парусами, в них дул весенний ветер, они несли нас к заветной и уже близкой цели.

Манежная площадь распахнулась ликующе, залитая солнцем, с красной кремлевской стеной, белым сахарным Манежем, янтарным дворцом, где каждое окно в чудесном каменном кружеве.

— Да здравствует товарищ Сталин, вдохновитель наших побед! — неслось звонко и восторженно над толпой. Колонна радостно откликнулась раскатистым «Ура».

— Да здравствует отец всех народов земли Иосиф Виссарионович Сталин!

По колонне волнами катилось рокошущее «Ура», волны ревуще сталкивались, разлетались, угасая вдалеке, и вновь возвращались, вздымались бушующим валом.

Я кричал со всеми. Мог кричать во все горло, никого не удивлял мой крик. Он тонул в общем громе, среди раскрытых ртов, блестящих глаз, трепещущих флагов. Какое счастье вливать свой крик в ликующие, сотрясающие небо возгласы! Я был со всеми, один из многих, незнакомых и вдруг ставших родными людей. С ними было чудесно. С ними я был готов совершать небывалые подвиги, превозмочь великие тяготы, идти на бой и умереть, как умер в бою за Сталинград мой отец. Он посвятил свою жизнь и свою героическую смерть вождю. И вождь, тот, что посылал в бой моего отца, ждет меня, высматривает в безбрежной толпе, хочет поведать то, что предназначено мне одному.

Владка кричал, как и я. Прикладывал ладони ко рту, чтобы звук был громче. Я заметил его шальной взгляд. Казалось, его восхищала сама возможность безнаказанно кричать.

Мы перетекли Манежную площадь, приближаясь к кирпичному островежному Историческому музею. Омывали его справа, вдоль тенистой кремлевской стены. Другая колонна от Дома Союзов, как мохнатая гусеница, ползла по Манежной, огибая Исторический музей слева. Обе колонны, попав на Красную площадь, сливались и текли мимо Мавзолея в своем кипящем бушующем многолюдье, приветствуя стоящего на трибуне вождя.

Под ногами заблестела брусчатка. В тени Исторического музея черная, с металлическим блеском, она походила на чешую огромной стальной рыбы. Я ступал на нее, слыша, как вздрагивает эта рыба. Вместе со мной ступало множество ног, обутых в ботинки, ботсы, сапоги, женские туфли, парусиновые, начищенные мелом тапочки. Я вдруг подумал, что мои ботинки ступают след в след тем бойцам, что шли парадом сорок первого года и растворялись бесследно во въюжных полях Подмосковья.

Мы выходили на площадь. Синие ели величаво темнели вдоль малиновой зубчатой стены. Внезапное солнце ослепило. Площадь, солнечная, бушующая, плескалась, гудела, ахала. Все лица обратились в одну сторону, туда же тянулись руки, флаги, цветы, жадно смотрели глаза. Солдаты с винтовками стояли в ряд, сдерживая натиск толпы. Штыки на винтовках блестели. То один, то другой загорался на солнце. Казалось, в руках солдат вспыхивают голубые звезды.

Мы достигли Мавзолея. Колонна редела, захлебывалась, влеклась туда, за блестящую сталь штыков. Там стоял вождь. Я стремился его увидеть, но

меня оттесняли. Загораживали спинами, затылками, флагами. Я метался, желал пробиться, чувствовал, как меня уносит мимо. Сталина заслоняла плотная живая стена. Сейчас случится невосполнимое горе, неутешное несчастье: меня унесет с площади, и я не увижу вождя.

На одно мгновение толпа разомкнулась. В тонкий исчезающий прогал я увидел Мавзолей в розовом блеске, шлифованные уступы и на верхнем уступе — Сталин. Он был в темном френче, драгоценной каплей мерцала звезда, краснела на фуражке кокарда, на бледном лице виднелись серые усы, под которыми улыбался рот. Правая рука была поднята и слабо махала.

Он исчез, заслоненный толпой. Но этого было достаточно, чтобы от Сталина ко мне прилетел волшебный луч, осветил меня, словно я был из стекла, и остался во мне навсегда.

Тогда на площади Сталин поцеловал меня, и этот поцелуй я чувствую всю жизнь. Сталин присутствует во мне, как огонь в лампе, как чудесный мираж, розовый, голубой, трепещущий на граните Мавзолея. Счастливый, я спустился с колонной мимо «Василия Блаженного». В синем небе он казался великолепным весенним букетом небывалых цветов и бутонов. Достигнув набережной, колонна стала рассыпаться, растворялась в солнечной Москве.

Мы с Владкой шли по гранитной набережной, глядя, как по солнечной реке бежит белый трамвайчик, оставляя серебряный след.

— На портретах он красивей, — задумчиво произнес Владка. Я не ответил. Все чувствовал сердцем пронзивший меня луч — поцелуй Сталина.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Тихвинский переулок — родной, любимый, домашний. По нему уходила на работу мама, и я следил, как ее синий берет исчезнет за углом деревянного двухэтажного дома. По переулку торопилась бабушка, маленькая, как птичка, неслая из магазина непосильную сумку с провизией. По переулку я отправлялся в школу зимним утром с синими сугробами и оранжевыми окнами, под которыми сверкала наледь, и я с разбега несся по ней, рискуя ударить головой встречного прохожего. Весной, среди ослепительных апрельских ручьев, бегущих по переулку, я шел за плывущей щепкой, мечтая о кораблях и странствиях. Щепка кружила и подсакивала в солнечных воронках. В летний зной переулок был сухой, душный, раскаленный, бульжники дышали седым жаром, листва на тополе жухла. К вечеру, шипя водяными фонтанами, усатая, проходила поливальная машина. Бульжник следом за ней драгоценно сиял, а в тополе, в свете ночного фонаря, трепетали белые бражники с упитанными тельцами, шелковыми крыльями и золотыми бусинками глаз. В переулке был особенный воздух. Среди запахов камней, железных крыш, душ-

ных подъездов вдруг пахнет подмосковными лесами и озерами, а ночью в открытое окно донесется стук поезда и гудок паровоза. В Тихвинском переулке было особое солнце, особый снег, особый листопад. Светила особая луна, вечерние зори в окне были особенные, малиновые, неугасимые, а утреннее солнце в толстом зеркале превращалось в радугу. Я не мог наглядеться на этот многоцветный огонь, когда мама расчесывала перед зеркалом чудесные каштановые волосы. Свое имя и свою неповторимость переулок получил от церкви Тихвинской Божьей Матери, закрытой, разоренной, превращенной в шуршащие и скрежещущие мастерские. Но колокольня, и без креста, с облезшим круглым куполом, лысыми ампирами, в своем разоренном виде оставалась прекрасной. Сколько ни помню себя, она смотрела в мое окно днями и ночами долгие годы моего младенчества, детства и юности. Просыпаясь, я видел ее раньше, чем маму и бабушку. Засыпая, распростившись с домашними, я продолжал ее видеть в сумеречном окне. Когда я делал уроки, она заглядывала в мои тетради. Когда меня мучили детские тревоги и было печально до слез, она была единственной, кому я мог доверить свои печали. В осенних дождях за облетевшим тополем она стояла серая, промокшая, в ржавых уродливых пятнах, и мне хотелось впустить ее в дом, в тепло, напоить горячим чаем, накинуть ей на плечи пальто. В январском солнце, в синем небе она казалась золотой царевной, и на ее плечи был брошен царственный горностаи. Весной она казалась перламутровой раковиной — фиолетовая, розовая, голубая, алая, изумрудная. Позднее, когда в пасхальной церкви я видел, как священник, торопясь, волнуясь, меняет в алтаре свои мантии, я вспоминал мою разоренную колокольню, в которой тайно сохранялась эта пасхальная служба. В ночные бураны, при свете качавшегося в метели фонаря, она казалась мрачной, пугающей. А летом в сухом зное на ее разоренной кровле зеленело малое деревце, зацепившееся корнями за трещинку, скопившую щепотку земли. Сколько помню, деревце не увеличивалось, оставалось крохотным зеленым облачком. Такими низкорослыми, утлыми выглядят тундровые березки, выстилающие мерзлоту. Колокольня, обесиленная, обескровленная, дала приют деревцу, вырастила его из занесенного семечка.

Когда я думаю о пушкинской Арине Родионовне, я вспоминаю мою милую колокольню, бывшую мне няней, «подругой дней моих». Она присматривала за мной, была моей воспитательницей, исповедницей. Она преподавала мне Закон Божий. Смотрела на меня печальными и прекрасными глазами пресвятой Богородицы.

В восьмом классе, весной, когда начали просыхать дворы, мама купила мне велосипед. Мы жили скромно, покупки были редкостью. Какой-нибудь матерчатый оранжевый абажур, или разукрашенная

чайная чашка, или пальто взамен старого, из которого я вырос. Эти покупки делались в Мариинском мосторге, что одиноко возвышал свое каменное строение среди деревянных мещанских домишек на окраине Марьиной Роши.

Мама брала меня с собой, и каждое посещение, особенно в раннем детстве, ошеломляло меня. Множество красок, сверканий, звуков, густая, ищущая и высматривающая толпа, очереди у касс с мелодичными серебристыми аппаратами. В густом жарком воздухе вкусно пахнет кожами, красками, лаками, клеями. Так пахли новорожденные изделия, только что появившиеся на свет и не испорченные употреблением.

Мне казалось, что я в музее, где собрано множество занимательных и бесценных экспонатов. Гитары медового цвета, в их овалах чудилось пленительное, женское. Треугольные балалайки с блестящими струнами ждали скоморохов в колпаках и шитых рубашках. Гармони с голубыми и алыми мехами хотелось раздвинуть и услышать рыдающий вздох. Аккордеоны с перламутровыми кнопками и костяными клавишами были изукрашены инкрустациями. На это богатство можно было только смотреть. Я не видел счастливых, у которых в руках появлялась гулкая янтарная гитара или аккордеон.

Пестрели рулоны сукна и шелка, множество выставленных напоказ мужских ботинок и женских туфель, сложенные в разноцветные стопки рубашки, развешанные платья, нарядные коробочки, пудрицы, ножички, зеркальца, фонарики. На все это я не мог наглядеться. Но несравненным был отдел велосипедов. Лаково-черные, лазурно-голубые, малиново-красные, блистающие сталью, благоухающие новой резиной, влекущие лучистыми спицами, зеркальными втулками, хромированным рулем — велосипеды завораживали. Велосипед был моей мечтой, снился, был предметом зависти. Мама замечала мой жадный и огорченный взгляд, когда мимо проносился на велосипеде лихой наездник, бросив вскользь торжествующий взгляд. Или Владка подкапывал к моему дому на немецком трофейном «Диаманте».

— Мы катались с твоим отцом на велосипеде, — говорила печально мама, замечая мой жадный, устремленный вслед уносящемуся Владке взгляд.

Мама, всегда со мной строгая и сдержанная, скупая на похвалы, своей строгостью выполняла роль отца. Отводила бабушке с ее безграничной ко мне любовью роль матери. Такой была наша семья без мужчины.

Мама повела меня в универсам, и я выбрал велосипед — голубой, в перламутровых разводах, Минского велозавода. Такую лазурь я видел позже на крыле сойки и в вершинах мартовских голых берез. Там синева сгушалась до обморочной темноты.

Боже, как я был горд, когда вел велосипед из магазина домой, минуя лужи, любясь неземной синевой рамы, слыша, как позвякивают в кожаном че-

хольчике гаечные ключи. Как бы невзначай трогал хромированный звонок, прислушиваясь к его чудесным переливам. Все смотрели на меня, завидовали, ибо ни у кого среди серых домов и блеклых заборов не было такого чудесного лазурного создания, издающего волшебные перезвоны.

На другой день после похода на Красную площадь мы с Владкой решили совершить велосипедный пробег.

С моего четвертого этажа я спустил драгоценную машину во двор, держась за рогатый руль. Вывел велосипед в переулок. Было солнечно. Отшлифованные ледником бульжники блестели. Зелени в деревьях прибавилось. На тротуаре лежали зеленые кисточки цветов, опавших с американских кленов. Владка меня поджидал.

— Долго спишь, — упрекнул он меня. Опирался на велосипед — бодрый, глазастый, с улыбкой на полных губах. Мы хлопнули друг друга по рукам. Я почувствовал его крепкое резкое рукопожатие. Наши велосипеды стояли рядом и, казалось, рассматривали друг друга. У Владки был черный немецкий велосипед «Диамант». Эта немецкая надпись, в бриллиантовых переливах, чуть стертая, красовалась на черной раме. Велосипед, как и множество других немецких изделий, оказался в Москве после войны, когда бедные квартиры вдруг наполнились дорогой мебелью, драгоценными сервизами, коврами, фарфоровыми пастушками, грампластинками с эмигрантскими песнями Лещенко, а в рабочих клубах на окраинах шли фильмы про Тарзана, захваченные, как значилось в титрах, «в качестве трофея». Владкин велосипед имел трофейное происхождение, как и немецкий танк на внутреннем дворе института, как «Мерседес», на котором уезжал на работу директор авиазавода, живший в нашем доме. В велосипеде дышало неостывшее время недавней войны.

Под горизонтальной рамой его велосипеда был укреплен длинный брезентовый чехол.

— Что это? — спросил я.

— Пневматическое ружье. Отец подарил.

— Едем на медведя?

— А кто попадется, — ответил он легкомысленно. Я испытал мимолетную горечь, большую зависть к Владке, у которого был отец, не погибший на войне, как мой. Не попал на фронт, работая на тыловом военном заводе.

— Куда едем? — спросил я.

— Куда глаза глядят. — Он беззаботно повел глазами. Кругом было солнечно, вольно, велосипеды дарили нам свободу передвижения, и мы могли лететь куда глаза глядят.

— А куда глаза глядят? — спросил я.

Владка возвел голубые глаза к небу, показывая направление нашего полета. Поставил левую ступню на педаль «Диаманта», оттолкнулся и сильным красивым взмахом перекинул правую ногу через седло, сливая спицы колес в стрекотинный блеск. Я повторил его движения, мой лазурный велосипед

затанцевал подо мной, мягко хрустнул цепью и рванулся вперед.

Счастье, легкость, упругость каждой жилки, каждой ликующей мышцы. Я мчался за Владкой, за его пузырящейся курткой, красным фонариком на крыле «Диаманта». Под колесами мелькали самоцветы мостовой. Красные флаги на фасадах казались особенно яркими среди свежей зелени. Я глотал сладкий ветер и думал, как чудесно иметь друга, любить, угадывать его мысли и волю, совпадающие с моими мыслями и волей.

Мы вылетели из переулка на пустую Новослободскую с одиночным троллейбусом. Асфальт был синий, стена Бутырской тюрьмы краснела, занимая весь квартал. Мы домчались до Палихи с трамвайными рельсами. Владка круто развернулся, махнул рукой, приглашая меня развернуться, и этим взмахом увлек за собой весь утренний город с солнечными окнами, редкими прохожими, синим одиноким троллейбусом. Новослободская была просторной, пустой. Мы мчались по середине, не опасаясь машин. Впереди высилось огромное здание с жирными, до самой крыши, колоннами. На каждой высилась алебастровая статуя: рабочий с отбойным молотком, крестьянка с пшеничным снопом, ученый в профессорской шапочке, летчик в очкастом шлеме, воин с винтовкой. Эти белые исполины громоздились над домом. Казалось, еще шаг, и они с грохотом один за другим рухнут, раскалываясь на белые глыбы.

Савеловский вокзал, игрушечный и нарядный, соединял Москву с рощами, деревнями, водохранилищами. С вокзала в наш двор являлись молочницы с самодельными алюминиевыми бидонами и такими же алюминиевыми кружками. Бабушка спускалась с литровой стеклянной банкой, и я из окна видел, как банка наполняется белым молоком.

У вокзала находилось трамвайное кольцо, где трамваи завершали маршруты, разворачивались и шли в обратную сторону. Здесь скапливалось много красных, прилепившихся один к другому вагонов. Они напоминали красных жуков, «солдатиков», усеявших кору черных лип. Было чудесно мчаться по Дмитровскому шоссе, покидая город. Он редел, мелел, отпускал нас в просторы весенних полей.

Дохнул сдобой хлебозавод, чей транспарант с нарисованной буханкой мы видели на вчерашней демонстрации. Сверкнули огромные зеркальные чаши, полные солнца. Ходила молва, что здесь ведутся научные изыскания, энергию солнца используют то ли для обогрева домов, то ли в секретном оружии.

На выезде из города мы обогнали подводу с цыганами, целый табор. Глава семейства в безрукавке, с черной бородишей погонял прутиком лошадь, а за его спиной сидели черноволосые женщины, молодые и старые, пестрели ворохи юбок, блестело серебро. Темноголовые дети, как птенцы, выглядывали из разноцветного тряпья.

Поначалу мне было легко. Я с наслаждением крутил педали, упивался скоростью, слышал упру-

гость шин, бархатный шелест цепи. Но понемногу я стал уставать. Передо мной неутомимо мчался Владка. Я видел, как ветер пузырит его куртку, как сильно, вверх-вниз, двигаются его ноги. Иногда он оборачивался, желал убедиться, что я поспеваю за ним. Волосы летели ему в глаза, он кивал, подбадривал меня.

Или я был слабее его, или еще не привык к велосипеду, или мой лазурный «минский» уступал в конструкции немецкому «Диаманту», но я выбивался из сил. Мне хотелось остановиться, передохнуть. Я начинал отставать. Владка замечал, замедлял бег, но, когда разрыв между нами сокращался, начинал яростно крутить педали и уносился вперед. Я задыхался, мечтал остановиться, но боялся показать мою слабость, уступить ему, гнал из последних сил.

Владка придержал бег, мы сблизились, он обернулся, улыбался, видел, как я задыхаюсь.

— Ну, мертвая, пошел, пошел! — крикнул он и прибавлял скорость. Оторвался от меня. Он играл со мной, мучил. Знал, что я лучше умру от разрыва сердца, чем покажу свою немощь. Сблизился и вновь уносился. Оглядывался, подманивал, дразнил. Я удивлялся его жестокости, его власти надо мной, готовности использовать эту власть, чтобы меня умертвить. — Ну, мертвая! — понукал он меня, как загнанную лошадь.

Я задыхался. Казалось, изнутри меня бьют молотком. Легкие жгло, будто я проглотил уголь. Ветер выдирал из глаз слезы, и все кругом мутилось. Усадьбу, занавешенную зеленью парка, я не сумел разглядеть. Малиновая церковь с бегущей к шоссе дорожкой, кто-то по ней спускался, но слезы мешали увидеть, кто.

Мы подлетали к Клязьминскому водохранилищу с высоким железным мостом. Два черных полукружья висели над светлой водой. Под ними плыл белый корабль. В глаза мне хлынуло красным, будто лопнули кровяные сосуды, и все стало красным. Вода под мостом, корабль, след за кораблем, железные полукружья моста. Я на секунду потерял сознание, умер, но продолжал крутить педали. Так бегущий в атаку солдат, получив смертельную пулю в сердце, продолжает бежать.

Видно, Владка почувствовал что-то. Сразу за мостом свернул с шоссе на проселок. Мягкий, как пластилин, проселок шел под гору. Я бросил педали и обморочно катил, пока Владка не остановился в редком березняке. Я рухнул, уронил велосипед, видя, как крутятся, мелькая спицами, колеса. Лежал на земле, закрыв глаза, слышал, как свистит и бушует в груди. Постепенно дыхание успокоилось, я открыл глаза. Владка сидел, глядя на меня с состраданием. Этот сострадающий взгляд был мне неприятен.

— Надо сердце тренировать. Есть телятину и орехи.

— Ты ешь? — спросил я.

— Иногда, — ответил Владка, подумав. — Когда поспевают орехи.

Сырая земля остудила меня, я мог осмотреться. Мы находились в редком березняке. Серебряные бе-

резы тянулись ввысь. Их небольшие прозрачные кроны не смыкались, пропускали тихое туманное солнце. Трава начинала зеленеть, но оставалось много черной бестравной земли. У моих глаз нежно светился сине-лиловый цветок медуницы. У корней березы вырос весенний бесцветный гриб на тонкой ножке. Метнулась бабочка-лимонница, нервная, страстная, взбалмошная. В вершинах пролетела молчаливая птица. Чисто, печально куковала кукушка. И где-то рядом неумолчно, самозабвенно заливались лягушки. Это было пение на множество голосов, ликующих, страстных, взывающих. Молитвенное прославление весны, неба, солнечного света, который растопил льды, освободил воды, разбудил сонную жизнь. Эта проснувшаяся жизнь славилась весну, серебряную, изумрудную, усыпанную медуницами, окруженную птичьими стаями. Весна шествовала среди берез, и лягушки, певцы солнца, славили ее божественное шествие.

Так воспринимал я эти лягушачьи хоралы.

— Где-то здесь обитает медведь, — произнес Владка, — Надо проведать.

Он отстегнул от велосипедной рамы брезентовый чехол и извлек духовое ружье. Изящное, легкое, с черным вороненым стволом, с деревянными, янтарного цвета, цевьем и прикладом, ружье в крепких руках Владки казалось дорогой игрушкой.

Он достал из кармана картонную коробочку. В ней мерцали свинцовые пульки, похожие на крохотные чашечки.

Владка переломил ствол ружья. В глубине тихо прошелестела невидимая пружина. Открылась тыльная часть ствола. Владка осторожно вложил в отверстие пульку, и она нежно засветилась в черном стволе. Владка замкнул ствол и прицелился куда-то ввысь, где сквозь зелень плавало солнце. Я любовался его точными движениями опытного стрелка. Любовался локтем руки, крепко ухватившей цевье, тугим плечом, в которое упирался приклад, румяной щекой, прижатой к вороненой стали, прищуренным левым глазом и синим правым. Этот глаз целил сквозь прорезь, вдаль вороненого ствола, ловил мушку, наводил ее на витавшую в березах цель. Владка опустил ружье.

— Идем на медведя, — сказал он, кладя ружье на плечо. Мы оставили велосипеды на проселке и двинулись по мягкой земле среди березовых стволов навстречу ликующему лягушачьему пению.

Среди берез был выкопан квадратный пруд, окруженный валами покрытой дерном земли. Вода в пруду была черной, солнце высвечивало в глубине желтое дно. Весь пруд был полон лягушек. Одни застыли у берега, выставив пятнистые спины, глядя немигающими золотыми глазами. Другие переплывали пруд, толкаясь жирными лапками с перепончатыми хрупкими пальцами. Третьи, парами, замерли в мелкой воде в волшебном оцепенении. Небольшие, синего цвета самцы оседали толстобоких, серо-зеленых самок, обняли их лапками, сводя растопыренные паль-

чики на белесом горле самок. Пруд дрожал, трепетал, пронизанный солнцем, звенел, стонал, выплескивался. У бирюзовых самцов на щеках раздувались прозрачные пузыри, скрипуче сдувались и вновь набухали. Большие пузатые лягушки, обремененные икрой, вылезали на берег, дрожали мягкими белыми подбородками. В мелкой воде, прицепившись к травинкам, колыхалась студенистая икра со множеством черных точек. Весь напоенный солнцем пруд, небесно-голубые лягушки, множество золотых, глядящих из воды глаз, клубки студня с икринками — все это напоминало первобытный бульон, в котором зарождалась земная жизнь, кипела, бурлила, извергалась, населяя молодую землю.

Когда мы приблизились к пруду, лягушки разом умолкли. Оглушительный гвалт стих. Стало слышно кукованье кукушки. Но через мгновение все опять зазвенело, заголосило, загремело, и в этом поднебесном хорале исчезли все остальные звуки.

— Хочешь пальнуть? — Владка протянул мне ружье, кивая на пруд.

— Нет, — испугался я.

— Стреляй. Пристреляем.

— Не буду. — Я отвел винтовку, глядя на голубого самца, выточенного из уральского лазурита.

— Мы ведь хотели обзавестись ружьями, заняться настоящей охотой. Потренируемся на пневматике.

— Ты собирался идти на медведя.

— Какая разница. Это тоже медведи, только маленькие и пупырчатые.

Владка прицелился, поводя стволом по воде, по берегам и снова по воде. Лягушки смолкли, замерли. Только одна продолжала плыть, толкаясь задними лапами, как это делают люди, плывущие брассом.

Владка выстрелил. Выстрел хлестнул по воде, вырвал бурунчик недалеко от плывущей лягушки. Она нырнула, вслед за ней нырнули другие. Пруд опустел, стих. Но постепенно из воды стали показываться глаза, лягушачьи рты, мешочки подбородков.

Владка, не торопясь, перезарядил ружье. Добыча никуда не девалась. Он прицелился, наведя ствол на мелкую воду, где синий самец заключил в объятья зеленоватую самку. Выстрелил. Пуля чмокнула, попав в лягушачье тело. Бульканула. Самец был сброшен выстрелом со спины самки, отлетел в сторону, дергал на воде лапками, испуская желтоватую жидкость. Владка вставил новую пульку. Дождался, когда испуганные лягушки всплывут и покажутся из воды их золотые глаза. Булькающий звук повторился, лягушка скакнула и шлепнулась брюхом вверх, раскинув ноги с толстыми женскими ляжками. Вокруг нее расплывалось розовое пятно.

Этот чмокающий звук пули, попавшей в живую плоть, я слышал несколько раз в последующей жизни. В Афганистане в ущелье Панджшер, где десантники попали под обстрел у селенья Киджоль. В Останкино, когда пулеметы били по толпе, и я спрятался за древесный ствол. В Грозном, за Сунджей, где шальная пуля прилетела на командный